



ГЛЕДИС

ШМИТТ



Рембрандт



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.111-312.6(73)
ББК 84(7Coe)-44
Ш73

Серия «Зарубежная классика»

Gladys Schmitt
REMBRANDT

Перевод с английского *П. Мелковой*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения литературного агентства
Ann Elmo Agency, Inc.

Шмитт, Гледис.

Ш73 Рембрандт : [роман] / Гледис Шмитт ; [перевод с английского П. Мелковой]. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 736 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-108322-9

Перед вами биографический роман о жизни и творчестве гениального голландского мастера, Рембрандта ван Рейна. Книга написана так, что с первых страниц читателя захлестывают эмоции и душевные переживания героя. Ярко и эмоционально описаны упоение от взлета к вершинам популярности и славы и боль падения, восторг побед и горечь утрат. Перед нами предстает обычный человек, ставший великим художником, но оставшийся человеком с его любовью и страстью, горестями и радостями.

УДК 821.111-312.6(73)
ББК 84(7Coe)-44

© Gladys Schmitt, 1960
© Перевод. П. Мелкова, наследники, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

КНИГА ПЕРВАЯ

1623

Когда мельник Хармен Герритс добавил к имени своему «ван Рейн», он сделал это не для того, чтобы походить на важных господ. Он стал величать себя по названию реки только потому, что вокруг жило великое множество других Харменов и Герритсов, а в городе Лейдене, где всегда ветрено, появлялось все больше мельниц; значит, на мешках с солодом тонкого помола, который столь охотно брали у него пивовары, должна была красоваться такая метка, чтобы покупатели не сомневались — товар поставлен именно тем Харменом, сыном Геррита, чья мельница расположена на берегу Рейна.

Жизнь с самого начала не баловала мельника. В дни, когда мать еще носила его под сердцем, любой голландец, избежавший руки испанских захватчиков, ежеминутно мог сделаться жертвой другого, не менее беспощадного врага — моря.

Подобно большинству своих земляков, родители Хармена были протестантами и долгие месяцы жили под угрозой смертного приговора, вынесенного испанским королем всякому, кто, как они, распевал псалмы, сокрушал изображения святых и горой стоял за принца Оранского. Приговор этот приводился в исполнение без каких бы то ни было формальностей, без малейшего намека на гласный суд. Каждый день, выходя из дому по тем скромным делам, какими можно было еще заниматься в парализованном городе, лейденцы видели новые трупы: то это был мясник, висевший в петле у дверей собственной

лавки, то булочник, привязанный к столбу на площади и наполовину обуглившийся. У людей оставалась только одна надежда, простая и чистая, — Бог, и, как ни странно, они верили, что Господь не покинул их, верили даже в дни страшных штормов, когда океан, вздымая к небу темно-коричневые гребни плотных, как масло, валов, обрушился на всю линию дамб от берегов Фландрии до Зейдер-Зе, и к шестнадцати тысячам протестантских мучеников, к десяти тысячам бойцов, павших в неудачных сражениях с испанцами, великое декабрьское наводнение прибавило еще сто тысяч жертв — тех, кто вместе со своим скотом погиб в деревнях, затопленных по самые флюгера домов и шпили колоколен.

Нет, Хармен не знал мира и покоя ни в чреве матери, ни в колыбели. В дни его младенчества беспомощность и смирение уступили место отваге, граничившей с безумием: город за городом закрывал свои ворота перед тираном, наказывавшим впоследствии за такую дерзость убийствами, насилиями и пожарами, которые ровняли с землей дома и улицы, уничтожая все, кроме несокрушимых средневековых башен. Нередко сообщение между городами начисто прерывалось, и тогда догадки и слухи еще более усугубляли всеобщее отчаянье. Собирая на склоне холма жалкий урожай со своих вытоптанных нив, крестьянин видел, как раскинувшийся внизу город внезапно превращается в гигантскую жаровню, над которой мечутся языки пламени; отрывая в субботний вечер глаза от запретной Библии, горожанин слышал многоголосые стенания, доносимые ветром из соседнего города, где испанцы предавали мечу тысячи его соотечественников.

Хармену было всего четыре года, когда испанцы положили его родной город, и впоследствии, вспоминая об этой нескончаемой пытке, он уже не мог отделить то, что пережил сам, от того, что запомнил со слов окружающих, — он ведь тысячи раз слышал потом, как за обильной трапезой рассказывали об ужасах осады и воздавали Господу хвалы за избавление от нее. Правда ли он, Хар-

мен, еще ребенком стоял на городских валах и видел, как вся равнина, от укреплений Лейдена до желтоватых вод моря, кишит чернобородыми солдатами, усеявшими ее гуще, чем мясные мухи кусок падали? Собственными ли ушами он слышал, как они хвастались, что теперь в город не пролетит даже воробей, или кто-нибудь, подражая их ломаной голландской речи, рассказал ему об этом позднее? Вот солодовые лепешки, на которые перешла семья, доев последний хлеб, он действительно помнил: зубы, облепленные вязким тестом, язык, прилипающий к нёбу, — такие ощущения не выдумаешь, их надо испытать. Вкус же крыс, кошек, собак, дохлых лошадей вряд ли мог остаться у него в памяти — позднее мать частенько рассказывала, что во время осады никогда не признавалась домашним, из чего готовит еду, а, напротив, усиленно скрывала от них происхождение мяса, которое накладывала на тарелки. Крапиву, подорожник, клевер, листья, кору, вареную кожу — все это маленький Хармен тоже перепробовал. Он складывал руки над столом и слушал, как отец, без тени иронии, приглашал Господа разделить с ними их трапезу, неизменно заканчивая предобеденную молитву просьбой о скорейшем прибытии принца Оранского, стоявшего, по слухам, со своим флотом так близко от Лейдена, что лишь цепь безлюдных дюн, которые протянулись между морем и западной стеной города, мешала осажденным увидеть корабли.

Осада длилась полгода и запомнилась Хармену прежде всего как время безмерной тишины и усталости. Стоило ему даже теперь раскрыть Екклезиаст и прочесть там: «Готовы окружить его по улице плакальщицы», как воспоминания одолевали мельника, словно приступ давней болезни. На помощь голоду вскоре пришла чума, и по утрам, вставая с постели, каждый лейденец спрашивал себя, кого из ближних недосчитается он сегодня. Не слышно было даже рыданий: у людей уже не осталось сил плакать, и какие бы слова они ни произносили — «Упокой, Господи, душу его» или «Прибери свои игрушки», — голоса их все равно звучали не громче, чем вздох.

Одно Хармен помнил совершенно отчетливо — как он сам, его мать и кое-кто из соседок с детьми, все до такой степени похожие на трупы, болтавшиеся на испанских виселицах, что прямо не верилось, что они могут двигаться, ходили на кладбище, единственное место, где еще что-то росло, и рвали там с могил траву и плющ. Поедая их, женщины не то бормотали, не то напевали что-то вроде псалма. Хармену долго хотелось узнать, что же они тогда говорили, и однажды, когда наступили лучшие времена, он спросил об этом мать.

— Смотрите-ка, не забыл! — воскликнула она. — Это мы у мертвых прощения просили — мы ведь брали то, что принадлежит им. Мы долго не трогали кладбище, но потом пришлось добраться и до него — детям нужна была зелень. Вот мы и просили у покойников прощения за то, что грабим могилы.

В последние недели перед освобождением усопшим пришлось почивать уже под водой. С тех пор как испанцы разгромили в болотах под Мукерхейдом армию восстановших, которой командовал Людовик, брат Вильгельма Оранского, у лейденцев осталась единственная надежда — маленький флот принца. Подвести суда к стенам города можно было только одним путем — разрушив ночью дамбы. Люди принца сделали это, море хлынуло на сушу, и корабли двинулись к городу. Они шли над дюнами и деревнями, над затопленными посевами и хуторами, лавировали между балконами, шпилями и всплывшими домами, но все-таки дошли. Наводнение, разорив страну, погубило захватчиков, и еще много месяцев спустя, по мере того как спадала вода, жители находили все новые трупы испанских ветеранов: целые сотни их, не успев убежать, нашли в волнах бесславный конец.

Когда жизнь человека начинается так, как у Хармена, нужно быть совсем уж глупцом, чтобы желать большего, чем в доброте своей взыскал тебя Господь. Испанцы ушли, море вернулось в свои берега, затопленные луга и деревни возродились, — и этого достаточно, более чем достаточно. Хармен Герритс почитал себя счастливецом:

у него хорошая мельница, уютный домик и недурной огород за стенами города, в тех самых местах, где когда-то все было скрыто водой. А ежели он прибавил к имени своему «ван Рейн», так это лишь мера предосторожности в интересах покупателей. Человек, проживший такую жизнь, как он, не станет делать вид, что какой-нибудь иноземный король-папист пожаловал ему дворянство. Да и не в его это натуре. Дом у него полная чаша, всеблагой Господь осыпал его своими щедротами, и он, как кощунство, отвергает всякую попытку требовать больше, нежели ему дано.

Конечно, он отнюдь не думает, что в жизни все всегда хорошо, а мир залит теплыми лучами благодати и покоя. В полной мере наслаждаться светом умеет лишь тот, кто заглянул во тьму. В судьбе Хармена тоже есть свои теневые стороны, и ни сам он, ни жена его не закрывают на них глаза. Геррит, самый старший и красивый из его оставшихся в живых сыновей, стал беспомощным калек: поднимая мешок ячменя в сушильню, он остушился, упал с лестницы и переломал себе обе голени. Геррит же не из тех, кого несчастье делает смиреннее. Кудри у него мягкие, золотистые, прямо-таки солнечные, а вот лицо не под стать им — оно исхудало и посерело, рот постоянно кривится, словно мальчик ест что-то горькое. Адриан, правда, здоров, удачно женился и устроился хорошо — он башмачник, у него приличная мастерская, но он тоже считает, что жизнь его обделила и родители дают его братьям больше, чем ему: старшему, калеке, по необходимости, а младшему, Рембрандту, которому перепадает особенно много благ, по склонности — он ведь такой даровитый. Время от времени Адриан намекает отцу и матери, что, если бы в университет послали не меньшого, а его, он никогда бы не бросил ученья ради карандашей да горшочков с краской и непременно выучился бы какому-нибудь стоящему делу. К примеру, стал бы проповедником слова Божия.

Что до Лисбет, единственной дочки Хармена, так ведь человеку трудно судить о своем ребенке. Лисбет —

девушка миловидная: белокурая, белокожая, румянец во всю щеку, подбородок маленький, круглый. Словом, ничем она не хуже своих сверстниц и парни гонялись бы за ней не меньше, чем за ними, если б только она умела держать в узде свой язык. А то ведь каждый вечер, когда у них дома собирается народ, Лисбет обязательно всем на глаза лезет. Произносит пылкие речи, а о чем — и сама не знает; чем меньше она понимает, про что толкует, тем больше говорит; чем ясней видит, что не права, тем упрямей твердит, что она права, права, права, да при этом еще смотрит на собеседника обиженными синими глазами. Правда, парни все еще ходят с ней гулять на валы, но появятся в доме раз пять-шесть и исчезнут, а потом она долго и томительно ждет нового поклонника. Но все равно Лисбет — хорошая девушка, и оттого, что ее подружки уже повыходили замуж, а она по-прежнему на выданье, на сердце становится грустно, так грустно, что родственники и друзья дома все чаще покупают бедняжке разные подарки — надо ж ее утешить. Но даже с подарками у нее получается как-то не по-людски. В каждом шарфике, брошке, паре бархатных роз на башмачки она усматривает знак особого к себе расположения. Хуже всего вышло, когда на побывку в родной город приехал из Амстердама Ян Ливенс, бывший однокашник Рембрандта, и привез Лисбет маленькое Евангелие в красном переплете с металлическими застежками. А так как Ян юноша видный и красивый, хотя, на взгляд Хармена, несколько изнеженный, она тут же вбила себе в голову невесть что.

Рембрандт и молодой Ливенс... Сейчас их нет, и в доме, несмотря на шумный весенний день, стоит такая тишина, что Хармена невольно тянет на серьезные размышления, хоть это и не мешает ему то и дело выходить в сад, чтобы полюбоваться на первые гиацинты и тюльпаны. Парни ушли на мельницу — там надо поднять мешки в сушильную, и Хармен даже рад, что на несколько часов избавился от общества юного амстердамца: громкие разглагольствования и напыщенные жесты Яна,

поначалу производившие на мельника сильное впечатление, уже через несколько дней начали ему казаться чересчур жеманными.

Вот Рембрандта Хармену действительно не доставало. В тех редких случаях, когда мельник проводил вторую половину дня дома, он любил смотреть, как его младший сын, сидя над листом бумаги или медной доской, что-то набрасывает, раздумывает или беседует с кем-нибудь на свой манер — скажет несколько слов, остановится, сделает пару-другую штрихов карандашом либо гравировальной иглой, опять помолчит и лишь после этого закончит фразу. Его жесткие волосы в лучах солнца отливают медью, на грубоватом лице ярко сверкают глаза, излучающие холодный серый свет, и взгляд их, всего секунду назад отуманенный мыслями, становится острым и пронизательным.

Хармен думал о картине, стоявшей у сына в мансарде. Рембрандт купил у тряпичника поношенный плащ пурпурного цвета, нарядил в него Геррита и писал с брата святого Варфоломея. Когда Хармен впервые взглянул на мольберт, ему сразу пришло в голову, что младший сын, пожалуй, еще вознаградит семью за все понесенные ради него жертвы и даже заставит позабыть о бесплодном его учении в университете или, на худой конец, обратит эту неудачу в шутку. На куске холста, за который, по мнению Адриана, дана была несусветная цена, Геррит выглядел настоящим святым Варфоломеем: ломота в искалеченных ногах, одолевавшая его в сырую погоду, стала как бы предвестницей страданий, которые предстоят блаженному мученику. Хармен вспомнил о пурпурной мантии, ниспадающей широкими вольными складками и кое-где потертой, как доподлинный бархат, о каплях пота, выступивших от боли на бледном лбу святого, и разом представил себе сына в собственной мастерской, ему уже казалось, что Рембрандт снискал такое же всеобщее уважение, каким пользуется его учитель, выдающийся художник ван Сваненбюrx; он пишет портреты попечителей сиротского дома и получает от

самого бургомистра заказы на большие исторические полотна для украшения ратуши.

В доме было тихо. Пустую опрятную комнату озаряло вечернее солнце, уже неяркое за вуалью облаков. Жена Хармена в кухне — там на вертеле жарится мясо; Геррит лежит в постели и читает; Лисбет ушла в город — отец послал ее к господину ван Сваненбюрху с просьбой оказать им вечером честь своим посещением и беседой за кружкой пива. Такое приглашение — вещь рискованная. Правда, учитель Рембрандта, как того требует учтивость, дважды побывал у ван Рейнов: в первый раз зашел сказать, что юноша принят в ученики; во второй — подтвердил получение первого взноса в счет условленной платы и поблагодарил за деньги. В обоих случаях ван Сваненбюрх выказал самую теплую сердечность и непринужденность, но он принадлежал к старой знати, стоял бесконечно выше ван Рейнов, и лишь присутствие у них в доме молодого Ливенса, который тоже работал когда-то в мастерской художника, помогло старому Хармену набраться смелости и запросто пригласить к себе столь важного гостя, словно тот был его родственником, другом дома или собратом-торговцем.

Впрочем, подбодрила Хармена и картина Рембрандта. Сегодня утром, стоя перед мольбертом, он подумал, что у господина ван Сваненбюрха, хотя мастерская его привлекает художников со всего Лейдена, вряд ли много учеников, умеющих писать красками не хуже Рембрандта, и что ради такого ученика мастер, вероятно, проявит по отношению к его родным нечто большее, нежели обычную вежливость. Но час был уже поздний, а Лисбет все не возвращалась; видимо, ей ответили отказом, иначе она тут же поспешила бы домой. И мельнику для собственного успокоения захотелось еще раз взглянуть на картину. В самом ли деле так уж доподлинны потертые места на старом бархатном плаще и капли пота на бледном лбу святого, или это ему только показалось?

* * *

Лисбет очень гордилась своим здравым рассудком — достоинство, которое друзья начинали все чаще замечать у нее. Она прекрасно понимала, что отцу не терпится узнать, чем кончилась ее прогулка в город; матери тоже следовало побыстрее сообщить, что сегодня дом ван Рейнов посетит не только сам художник, но и его жена — итальянка, а это большая честь, ибо госпожа ван Сваненбюрх ходит в гости только к самым богатым горожанам. Нужно нарубить селедку, остудить в кадке с водой пиво, сбегать к булочнику за хлебом, растопить камин в гостиной, и хозяйке дома придется побыстрее управиться с приготовлениями — скоро вечер. Хваленый здравый смысл довел Лисбет до набережной Пеликанов, откуда уже видна была отцовская мельница, но там он неожиданно покинул девушку: она решила, что брат ее вместе с гостем, вероятно, все еще таскает мешки в сушильню. Мгновенно сообразив, что здравый смысл редко приносит человеку радость, Лисбет свернула на грязную, истоптанную копытами тропу — ячмень отцу подвозили на лошадях — и, очутившись в теплой полутьме мельницы, где так привычно пахло бродящим зерном, разом забыла, что порученное ей дело не терпит отлагательства.

Внизу юношей не оказалось, но это несколько не обескуражило Лисбет: тут не очень-то полежишь на спине, ведя возвышенные речи об искусстве и славе, — крысы возвращаются в город быстрее, чем успевает их уводить крысолов. Девушка подошла к крутой лестнице, сгубившей бедного Геррита, и почувствовала, что мальчишки где-то здесь, в этой пронизанной солнцем тени. Прежде чем просунуть голову в люк сушильни, она остановилась на лестнице, перевела дух, отерла заблестевший от пота нос и торопливо уложила на лбу влажные локоны.

— В мастерской у Ластмана мы очень редко рисуем с гипсов, а все больше пишем живые модели, — низким внушительным голосом рассказывал амстердамский гость.

— В самом деле? — удивился Рембрандт. — И женщин тоже?

— Если нужно, то и женщин. В городе немало таких, которые только этим и живут.

— А они молодые? Хорошенькие?

— Ты слишком многого хочешь, мой друг. Нет, они совсем истасканные. Учитель всегда говорит, что держутся они только по милости Господа и своих корсетов. Посмотрел бы ты, какую мы писали прошлый месяц! Живот как бочонок, а...

Лисбет кашлянула и поднялась еще на две ступеньки, чтобы молодые люди заметили ее; из скромности она глядела не на них, а на молотый солод, распластанный, словно огромный блин, в глубине сушильни. Какое счастье, что ее собственный живот едва угадывается под сборками пестрой юбки!

— Да это же Лисбет! — воскликнул молодой Ливенс, по-столичному учтиво вскакивая с усыпанных зерном досок.

— Что тебе, Киска? Мы кому-нибудь понадобились? — осведомился Рембрандт, не давая себе труда хотя бы приподнять голову, покоившуюся на груде пустых мешков.

— Нет, — ответила девушка, неодобрительно поглядывая на распростертую фигуру брата и его непроницаемое лицо. — Просто я возвращалась с прогулки и подумала...

Закончить фразу Лисбет не пришлось: гость жестом указал ей на почетное место — два полных мешка, положенных друг на друга, и уселся на пол рядом с нею.

— Конечно, гипсами пренебрегать не следует, — продолжал брат с таким видом, словно Лисбет тут и не было, — кое-чему они меня научили, да и тебя тоже, судя по обнаженной фигуре мужчины, сделанной углем, которую ты показал мне вчера.

— Нет, приятель, я рисовал его не с гипса, а с самой статуи — она принадлежит Ластману. Мрамор — это тебе не то что мертвенно-белый гипс. Мрамор кажется

живым. Понимаешь, у него от природы желтоватый оттенок, а, пролежав в земле столько столетий, он, по-моему, желтеет еще больше.

Рембрандт приподнялся, сел и обхватил руками колени. Хотя он не часто делал тяжелую работу, руки у него были грубые, узловатые, густо поросшие рыжими волосами.

— Не спорю, статуя замечательная. Ну что ж, скопирую по крайней мере твой рисунок, если ты, конечно, позволишь, — сказал он, не сводя с собеседника властных серых глаз.

— Разумеется, позволю. Все, что я привез с собой, — к твоим услугам. Жаль только, что человек с твоим талантом копирует чужие рисунки. Тебе давно пора работать с оригиналов.

Молодые люди несколько принужденно замолчали, и это навело Лисбет на мысль, что они, наверно, говорят о делах, которые предпочли бы хранить в тайне от нее. День был так тих, что даже огромные крылья мельницы словно замерли в воздухе; только в косых лучах солнца, еще проникавших в сушильню, плясали золотистые пылинки.

— А я и так работаю с оригиналов, — вымолвил наконец Рембрандт. — У ван Сваненбюрха подлинных вещей хватает.

Вот теперь, решила девушка, настало время сказать, что вечером учитель зайдет к ним. Она уже открыла рот и заранее изобразила на лице радость, как вдруг Ливенс заговорил снова:

— Помню, помню, — с пренебрежительной улыбкой сказал он. — Например, голова Медузы. Кстати, он все еще заставляет вас рисовать ее в двадцати разных видах? За те несколько лет, что я проработал у него, я наизусть выучил все изгибы каждой змеи у нее в волосах.

— С Медузой мы давным-давно покончили, а сейчас работаем со старинными флорентийскими подвесками. Чудо как хороши! Но ты, вероятно, их не видел — они куплены Сваненбюрхом уже после твоего отъезда.